



С.Шейнкман

Куряжская быль

Калинин, Книжное издательство, 1963

ГЛАВА 1

Зимой 1926 года, будучи молодым врачом, я работал в одной из поликлиник в Харькове. Моё «амплуа» в этом лечебном учреждении менялось в зависимости от разных причин. Часто я замещал врачей, если кто-либо из них болел или находился в отпуске. Нередко я работал «разгрузчиком», когда вспыхивала эпидемия гриппа или кори среди детей и участковый врач не в силах был справиться с огромным числом вызовов.

Я тщетно искал более постоянной и перспективной работы. Однако моя пока ещё слабая врачебная квалификация не открывала передо мной дверей больниц и клиник. В ожидании лучших времён я в свободные часы посещал клиники и заседания научных обществ.

Не помню уже каким путём, но я узнал, что имеется вакантное место врача в детской трудовой колонии в Куряже под Харьковом.

Через несколько дней с путёвкой от городского отдела здравоохранения направился в колонию.

Доехал до станции Рыжов, оттуда до Куряжа около трёх километров. Дороги я не знал и присоединился к крестьянам, которые шли в том же направлении. Мы двигались быстро, так как мороз крепчал и близились сумерки. Узнав, что я иду в колонию, мои спутники поинтересовались, по какому делу.

— Собираюсь работать там врачом.

Крестьяне многозначительно переглянулись между собой, а один из них бросил такую фразу:

— Долго не поработаете. Это такие бандюги...

Дальше мы шли молча. Потом мои спутники свернули в сторону, указав на виднеющуюся на пригорке церковь, обнесённую кирпичной стеной.

— Во колония!

С.Шейнкман. Куряжская быль. Калинин, Книжное издательство, 1963. 56 с.

Кандидат медицинских наук С. Шейнкман был свидетелем организации и становления Куряжской детской колонии им. Горького, которой заведовал замечательный педагог и писатель Антон Семёнович Макаренко.

В своих воспоминаниях С. Шейнкман показывает Куряж до объединения с колонией Горького и перемены, которые произошли с приходом А.С. Макаренко.

Повествование ведётся от лица автора, молодого врача, пытающегося во всяком случае в творческую работу А.С. Макаренко.

За оградой я с трудом, уже в темноте, разглядел одноэтажные домики, в окнах которых мерцал желтоватый свет керосиновых ламп и каганцов.

Я долго топтался на крылечках и усердно дёргал двери. Потом какая-то женская фигура в валенках проводила меня к домику, где жил заведующий колонией.

Меня встретил широкоплечий мужчина в телогрейке и ватных штанах. Мой неожиданный визит оторвал его от ужина. На столе лежали кусок белого хлеба и вскрытая банка консервов. Внимательно прочитав мою путёвку, заведующий задумчиво посмотрел в тёмное окно и забарабанил пальцами по столу.

— Не знаю, право, куда вас устроить на ночлег. Завтра, конечно, разберёмся. Впрочем, если не возражаете, я вас провожу в «больничку».

Через несколько минут, увязая в сугробах, мы подошли к «больничке». Не успели мы закрыть за собою дверь, как из боковой комнаты послышался голос, обращённый, по-видимому, к нам:

— Закрывай, зараза, дверь. Это тебе не лето! Здесь больные люди лежат.

Мы не стали отвечать на это «приветствие».

«Больничка» занимала две комнаты. В одной проводился, как мне объяснил заведующий, амбулаторный приём. Вся она пропахла острым запахом лекарств, в букете этих запахов можно было различить валерьяновые капли, нашатырь и лизол.

Во второй комнате, куда мы зашли, стояли четыре железные кровати, на которых лежали набитые соломой матрацы и какие-то тряпицы, имеющие весьма отдалённое сходство с одеялами. Подушек и простыней не было. На табуретке чадила трёхлинейная керосиновая лампа без стекла.

Три койки в стационаре были заняты, четвёртая пустовала.

— Ну вот, доктор,— обратился ко мне заведующий,— распологайтесь на этой койке. Переспите ночь, а завтра поговорим.— С этими словами он повернулся и вышел.

Забегая вперёд, я должен признаться, что наш разговор с заведующим колонией не состоялся ни завтра, ни послезавтра и вообще

никогда. Мне удалось увидеть мельком лицо заведующего через три месяца, когда он сдавал колонию Антону Семёновичу Макаренко.

Первая ночь, проведённая в колонии, запомнилась мне надолго.

Привыкнув к полутьме, я стал всматриваться в лица больных, которых мой приход нисколько не заинтересовал. На двух койках напротив сидели два мальчика лет десяти-одиннадцати. На койке, спинка которой упиралась в мою кровать, лежал, закинув руку за голову, подросток лет пятнадцати. Нисколько минут ребятам молчали, затем принялись за прерванную игру в карты. Старший не принимал участия в игре, но следил за игрой, изредка подавая короткие и выразительные реплики, состоящие из двух-трёх непечатных слов.

Я снял пальто и стал расшнуровывать ботинки, но один из мальчиков, мельком посмотрев в мою сторону, сказал:

— Вы, доктор, лучше не раздевайтесь, а то ночью замёрзнете, а может, и пальта утром не найдёте.

— Разве на ночь дверь не запирается?

Мой вопрос показался ребятам очень смешным, и они весело захохотали.

— Вот, чудак-человек. А хотя бы дверь запирались, что с того?

Усталый от долгой ходьбы на морозе, я заснул почти мгновенно.

Не знаю, сколько времени я проспал, но вдруг проснулся от страшного, как мне показалось, грохота. Я сел на кровать, не соображая, где я и что со мной. Фитилёк в лампе слабо вспыхивал, готовясь погаснуть. В полумраке я увидел мальчика, который, держа в руках полено, целился куда-то в угол.

— Что случилось? Что за шум?

— Крысы обратно лезут на койку. Я одну долбанул по голове, аж завертелась, паразитка.

Лампа погасла, и мы остались в темноте. Где-то под койками слышалась возня крыс, и, судя по шуму, который они производили, их было немало.

Я невольно поднял ноги на койку, испытывая чувство гадливости и страха. Спать я уже не мог. Я сидел, опустив голову на согнутые колени, пока в окне не забрезжил утренний свет. При свете я обнаружил, что крысы не являлись единственными непрошенными

обитателями стационара. Матрац был усеян большими клопами, и я понял причину зуда во всём теле.

Ребята спали, укрывшись с головой тоненькими серыми одеяльцами.

Я вышел во двор. Было уже не рано. Передо мной лежали высокие снежные сугробы, у подножия которых темнели воронки с разлитыми вокруг них следами помоев. На дворе было безлюдно. Я не мог уловить никаких признаков жизни. Озадаченный, я вернулся в больничку.

Через час пришла моя помощница, фельдшерница Анна Иванова, малоразговорчивая пожилая женщина. Начался совместный обход стационара. На койках оказалось только двое ребят. Третий, постарше, исчез.

Анна Ивановна утверждала, что о третьем больном она ничего не знает. Его появление в стационаре и исчезновение остались загадкой. Мальчики отмалчивались.

Начался амбулаторный приём. На приём приходило много ребят. Они были одеты в какие-то лохмотья, грязные, со следами расчёсов, с охрипшими, простуженными голосами, с покрасневшими глазами, хромающие, с отморозенными пальцами.

Вся эта орава настроена была довольно агрессивно. Видимо, телесный недуг не мог подавить их неукротимого духа, тем более, что при ближайшем исследовании оказалось, что болезни их не занимали серьёзного внимания. Но неугомонные пациенты требовали немедленной медицинской помощи, рисуя в мрачных красках свои страдания. Стоило Анне Ивановне помазать большое место йодом или цинковой мазью, как страдальческое выражение лица пациента исчезало, сменяясь широкой улыбкой. Полное удовлетворение получали те из ребят, которым накладывали марлевые бинты. Они несколько раз повторяли:

— Спасибочко, Анна Ивановна!

Но таких счастливиков было немного.

Пока Анна Ивановна занималась «малой хирургией», я проводил приём по терапии. Я выстукивал и выслушивал сердца и лёгкие,

щупал тощие животы и заглядывал с помощью алюминиевой ложки в ярко-красные глотки.

Пациенты охотно проглатывали порошки и капли, решительно отказываясь от касторового масла и клизмы. Упоминание о клизме вызывало у них весёлое оживление и довольно выразительные реплики.

В самый разгар приёма со двора донесли удары по рельсу — сигнал на обед. Амбулатория мгновенно опустела.

Я вышел во двор. У дверей столовой толпились ребята с закопчёнными котелками в руках. Некоторые, несмотря на зимнее время, стояли босые. Пританцовывая, они тщётно пытались согреть застывающие сине-багрового цвета ступни.

В столовой, у окошка, где раздавалась пища, стоял дежурный воспитатель. Издали его можно было принять за глухонемого, так как из-за шума и стука, который стоял в столовой, голоса его не было слышно. Изъяснялся он только жестами.

Некоторые ребята, получив свою порцию, хлебали прямо из котелков, а кусочки мяса ловко вылавливали пальцами. Более счастливые обладатели деревянных ложек присаживались к длинному столу и поедали свой обед мгновенно.

В этот короткий зимний день я успел ещё посетить спальню «рыболовов». Слово рыболов имело в этом случае переносное значение и скорее означало диагноз, который не вошёл в официальную номенклатуру медицинских терминов. «Рыболовами» называли ребят, больных недержанием мочи. Им была выделена отдельная спальня, и её обитатели находились под наблюдением медицинско-го персонала.

Резкий запах аммиака ударил в нос, как только мы с Анной Ивановной открыли дверь в спальню. В комнате стояли двухэтажные деревянные нары. На нарах, кроме соломы, ничего не было: ни матрацев, ни подушек, и, конечно, никакого постельного белья.

Точного количества детей, страдающих недержанием мочи, не знали ни Анна Ивановна, ни дежурный хлопёц, дремавший у порога. Я спросил у дежурного, почему в спальне такая грязь и пол не под-

метён. Он ответил, что уборка в функции дежурного не входит. Его обязанность — сторожить.

— Что же ты здесь охраняешь, вонючую солому? — спросил я.
— Не только солому, — серьёзно ответил дежурный, — но и нары. Пацаны могут всё растащить на топку, бо в спальнях холодно, — добавил он с грустным видом.

Этот ответ показался мне резонным.

От Анны Ивановны я узнал о весьма своеобразном методе лечения, который применяется в этом филиале «больнички». Во-первых, ребята, страдающие недержанием, лишаются комфорта спать на матрацах и подушках. Во-вторых, каждую ночь происходит смена спальных мест: одну ночь определённая группа ребят спит на верхних нарах, а вторую ночь занимает нижние нары. Смысл такого ежедневного перемещения нетрудно понять, если принять во внимание широкие щели между досками на верхних нарах. Но так как каждую ночь происходит смена групп, то нареканий в несправедливости, видимо, не бывает.

Первый день пребывания в колонии показался мне необыкновенно долгим. У меня было такое впечатление, что со вчерашнего вечера прошло уже много дней и все они были заполнены множественным человеческих лиц и голосов, какой-то сутолокой и неразберихой. Знакомые и близкие люди, Харьков отодвинулись в моём сознании далеко-далёко...

Поздно вечером я наконец очутился в отведённой для меня шестиметровой комнатке. Половину этой комнатки занимала плита. На койке торчком лежал туго набитый соломой матрац, покрытый новой, ещё не стиранной простыней.

В комнатке было очень жарко и душно от натопленной плиты. Я поспешил раздеться и тотчас погрузился в глубокий сон.

ГЛАВА 2

В «больничку» десятилетнего Ваську принесли на руках три мальчика и положили прямо на пол. Один из мальчиков, отрекомен-

довавшись Васькиным «корешком», то есть другом, объяснил, что Васька всю ночь кашлял и нёс какую-то «бузу».

После довольно продолжительной санитарной обработки перерывом мной предстала белобрысая мальчишеская физиономия со светлоголубыми глазами.

Вася тяжело дышал и изредка стонал. На правой щеке горел румянец. Его положили в стационар на взбитый матрац и укрыли двумя одеялами. На него надели белую, солдатского фасона сорочку и длинные кальсоны.

На мои вопросы большой отвечал неохотно. Я принял его обследовать и после недолгих размышлений пришёл к заключению, что Вася болен воспалением лёгких.

Через несколько дней кризис миновал. Вася стал привыкать ко мне и даже улыбался на мои шуточные замечания. Улыбка у Васи была очень милая, но глаза были ещё грустные и смотрели куда-то вдаль. Такие глаза бывают у людей после тяжёлой болезни.

Целый день Вася лежал один в стационаре. Ему надоело молчание, поэтому во время моего вечернего обхода он охотно вступал в разговор. Вначале разговоры у нас вращались вокруг его болезни. Мальчик жаловался на то, что ему делают уколы шприцем. Меня всегда удивляло, отчего ребята в колонии, многие из которых прошли через всякие жизненные невзгоды, переносят безропотно холеру, голод и всяческие телесные травмы, так бояться уколов шприцем.

— Вася, ты правду скажи, разве так уж больно? Ведь когда комары тебя кусают, ты не жалуешься и не плачешь?

— Комары... — возразил Вася. — Так то ж комары, а тут колот в самую шкуру иголкой. Вся задница болит.

— Нужно говорить не задница, а ягодица.

— Пусть ягодица, — согласился Вася, — а всё ж болит.

Постепенно наши разговоры приняла более душевный, интимный характер. Я узнал, что отец Васи не вернулся с гражданской войны, а мать умерла «с голодухи». В деревне случился большой недород. Старшая сестра вышла замуж и куда-то «подалась» в город, бросив Васю на произвол судьбы. Он уже побывал в двух коло-

ниях, но удирал оттуда. Из Куряжской колонии он собирался «порвать» весной, когда потеплеет.

Я спросил, почему он не может ужитья в одном месте.

— Неужели тебе больше нравится бездельничать и бродяжничать, чем учиться грамоте и ремеслу?

Мой вопрос, по-видимому, глубоко и больно задел его. Он долго молчал, потом всхлипнул и отвернулся к стенке.

После длинной паузы он наконец с обидой в голосе отозвался:

— Учиться? А где учиться? Школу закрыли, скамейки и доску пацаны в печке пожгли, учителя или там воспитатели походят-походят по спальням, а вечером запрутя в своих квартирах и сидят.

— Ну, Вася, ты что-то не то говоришь. Все, выходит, виноваты, а ты один хороший.

— Не говорю, что хороший. Вот спросите у кого хотите, все так скажут. Федька вот хотел на плотника учиться, так мастерская закрыта, все струменты поломаты, ничего нет.

— Кто же поломал инструменты?

— Кто зна? Може, пацаны. Так никто за этим не смотрит, никто не турбуется¹ за нас. А старшие пацаны, знаете, что делают? Вы ничего не знаете,— закончил он.

Постепенно я стал понимать, что здоровый инстинкт мальчика тянется к какой-то осмысленной жизни, а жизнь в детских колониях, где он побывал, была заполнена неинтересными вещами: каждый дневной заботой побольше поесть, сберечь свою одежду и обувь от покушения на них со стороны других «пацанов», особенно старших, давать сдачи в драках с другими мальчишками и обиженно отходить от более сильного противника, стащить какую-нибудь мелочь, которая плохо лежит. А радостей совсем почти не было. Радости были в прошлом, в деревне, когда он носился, как ветер, по полю, когда играл с мальчишками...

Сейчас у него осталась только одна радость — это дружба с Федькой. С ним можно было лежать, тесно прижавшись, на койке и шёпотом делиться своими выдуманскими и невыдуманскими исто-

¹ Турбуется (украинск.) — беспокоится.

риями, рассказывать о фантастических подвигах каких-то необыкновенных людей, строить планы на весну и лето, словом, о чём-то вслух думать и мечтать.

Бродяжничество и состояние постоянной настороженности сделали Васю наивным скептиком. Всё, что выходило за пределы его скромных познаний о существующем мире, вызывало у него подозрительность и недоверие.

— Вася, вот скажи, ты недоволен порядками в дет-колониях, где ты бывал, но существуют же хорошие колонии, где ребята не обижают друг друга, не воруют, чисто одеты, учатся, дисциплинированы, ну и прочее. Есть же такие детские колонии? Как ты думаешь, Вася?

— Не, таких колоний, мабуть, и на свите немае,— отвечал мне Вася.

ГЛАВА 3

Необычно суровая для Украины зима в начале марта под натиском весны начала сдавать. И хотя по ночам мороз доходил до 15—18 градусов, днём солнышко припекало уже по-настоящему, и снег на дворе и крышах заметно почернел. Вид обшарпанных и щербатых стен собора и других зданий во дворе стал ещё более отталкивающим. А безрадостная, нелепая жизнь сотен ребят в Куряжской колонии шла своим чередом. К кожным заболеваниям — чесотке, нарывам, фурункулам — прибавились куриная слепота, цинга, малярия, малярия и, бог знает, ещё что.

По праздникам в «больничку» с большим шумом и с некоторым даже торжеством доставляли раненых деревенских парней в чёрных суконных костюмах и своих колонистов, истекающих кровью и не отсывших ещё после пьяной драки.

Оставаясь по вечерам один в своей комнатке, я всё чаще и чаще начинал задумываться над безвыходностью своего положения. Это был настоящий сизифов труд. Каждое утро начинать работу сначала и не видеть ей конца, не видеть результатов и конечной цели своего труда.

Со студенческой скамьи я усвоил, что главное в советской медицине — это предупреждение болезней, профилактика. Лечение без профилактики не может решить проблемы оздоровления населения городов, сёл, всего трудового народа. Где же моя профилактическая работа здесь, в колонии? Как её начинать, как проводить, с кем проводить, к кому обратиться, что делать?

Как-то вечером ко мне в комнату поступался человек высокого роста, в больших чёрных валенках, в ушанке, обшитой мехом. Он остановился на пороге, снял ушанку и отрекомендовался воспитателем-педагогом Петром Васильевичем Дзюбой. Я пригласил его зайти.

— Видите ли, доктор,— начал он, сняв чёрное с бобриковым воротником пальто и усевшись на табуретку,— хотел бы поговорить с вами, как с культурным человеком. Я работаю здесь больше года и, представьте себе, не нахожу среди наших педагогов никого, с кем можно было бы серьёзно потолковать. Скажите, доктор, вы профессора Стебловского не знаете? Нет? Светлая личность. Имеет много трудов по детской психопатологии. Я выполняю некоторые задания по его указаниям. Собираю среди детей анкетные данные и провожу некоторые тесты¹. Очень интересная работа. Откровенно говоря, меня не удивляет неорганизованность и распушенность среди наших детей. Примите во внимание два фактора.

Дзюба многозначительно поднял один палец.

— Первое — умственная неполноценность ребяты; да, это научно подтверждается нашими тестами, и второе, — Дзюба поднял второй палец,— среда, из которой дети вышли.

Нет, не спорьте. Это мнение профессора Стебловского, и я с ним вполне солидарен. Поэтому наши педагогические усилия наталкиваются и будут наталкиваться на непреодолимые препятствия. Впрочем, вы сами в этом убедитесь. Простите, доктор, но я вижу по

¹ Тест — психотехническое испытание, состоящее в том, что испытуемому предлагаются задачи для определения тех или иных его способностей (памяти, внимания и т. д.)

вашим глазам, что вы далеки от этих проблем, вы, должно быть, «чистый» лечебник. Вас интересуют только физические недуги.

Дзюба, видимо, не нуждался в ответах и высказываниях собеседника. Ему нужен был только слушатель. Не дождавшись ответа, он продолжал:

— Скажите, доктор, какое впечатление произвела на вас колония?

Я ответил уклончиво.

— Ну, а всё-таки? — настаивал Дзюба.

— Если говорить с точки зрения «чистого» лечебника, как вы назвали меня, то впечатление самое горькое: территория загажена, даже дворовых уборных нет, снегу но колени, в помещениях клопы и крысы, ребята одеты в тряпье, как нищие, завшивлены, простужены, недоедают, ничем не заняты. Вот эта самая настоящая неприглядная действительность, а не тесты.

Мой ответ, видимо, обидел Дзюбу.

— Да,— проговорил он,— может быть, с вашей точки зрения, вы и правы, но гребёте вы неглубоко. Простите, у вас нет подготовки и, ещё раз простите, достаточной эрудиции в этом вопросе. Советую вам познакомиться с трудами профессора Стебловского.

Воцарилось молчание, потом Дзюба заторопился.

— Извините, доктор, уже поздно. Вечером мы опасаемся всяких эксцессов и посживаем дома за запертой дверью. До свидания.

ГЛАВА 4

Вася заметно шёл на поправку. Температура стала нормальной, кашель прекратился. Его можно было уже выписывать из «больнички». Но я медлил. Я привлек к беседам с ним по вечерам, к тому же оказалось, что он недурно играет в шашки, и я коротал свободные вечера в общении с мальчиком. Мне казалось, что Вася выздоравливал не только физически. Вася увлекался чтением книг, которые я ему приносил из библиотечки колонии. Он с трудом отрывался от них во время моего прихода.

Но наконец наступил день выписки. По торопливым движениям Васи я понял, что он взволнован. Одетый в свой чёрный «клип», он подошёл ко мне попрощаться.

— Не забывай нас, Вася. Приходи вечером в гости. В шашки поиграем.

Вася мотнул головой, проглотил слюну и ничего не ответил. Это было после обеда. А вечером ко мне в комнату ворвалась моя по-мощница и патетическим голосом сказала:

— Вы, доктор, с ними очень хорошие и даже в шашки играете, а Васяка большую простыню украл, а мне отвечать придётся из своего кармана.

Я опешил.

— Не может этого быть! Вася не мог украсть.

— Не мог, а украл,— отрезала она и вышла, хлопнув в сердцах дверью.

Этот инцидент надолго выбил меня из колеи. «Неужели,— думаю я,— Дзюба прав?»

Я намеревался повидать Васю и поговорить с ним. Но время проходило. Дни были заняты заботами и неотложными делами, а Вася не попадался на глаза.

В колонии распространился слух, что предстоит реорганизация и в Куряж будет переведена детская колония имени Горького. Заведующим будет Макаренко, нынешний заведующий колонией имени Горького. Было известно, что колония имени Горького находится где-то недалеко от Полтавы и в ней воспитываются несовершеннолетние правонарушители. Эти толки вызвали сильное возбуждение среди педагогов. Они собирались группами в канцелярии, возле круглой печи, и горячо обсуждали положение.

Нетрудно было уловить, что общий тон разговоров был не в пользу намечающейся реорганизации.

Высокая мужеподобная женщина с коротко остриженными волосами низким голосом убеждала собравшихся вокруг неё педагогов:

— Мало нам своих воров. В горьковской колонии настоящие бандиты. Не понимаю, зачем понадобилось привозить их сюда? Хороший пример для наших колонистов, нечего сказать. Лучше бы побольше воспитателей сюда направили.

— Ну, воспитателей у нас хватает. Дело не в этом,— заметил педагог в очках.

— А в чём дело?

— Дело в организации. Согласитесь, Елизавета Ивановна, что у нас нет коллектива: нет коллектива детского и нет коллектива педагогического. У нас, если можно сказать, имеются два лагеря, причём, два враждебных друг другу лагеря. Один лагерь составляем мы — воспитатели, другой — наши воспитанники. Война между лагерями не прекращается ни на одну минуту.

— Ну-ну, это вы уж слишком,— прервала его собеседница.

— Подождите, это ещё не всё. Не думайте, что каждый из этих лагерей сплочён и члены его поддерживают друг друга. Нет. Сплочение внутри лагеря происходит только тогда, когда возникают острые конфликты, затрагивающие интересы каждого лагеря в целом...

Говорящий смотрел всё время на меня, как человека ему незнакомого и поэтому непредубеждённого.

В другой раз я слышал такой диалог, происходивший между двумя педагогами.

— Вы слышали, какой ультиматум предъявил Макаренко Наркомпросу?

— Нет.

— Представьте себе, Макаренко поставил условием слияния колоний увольнение всех сотрудников нашей колонии, и в первую очередь воспитателей.

— Не может этого быть.

— Нет, это факт. Мне об этом сказал верный человек.

— А профсоюз куда смотрит? Нет, этот номер ему не пройдёт.

— Говорят, что Макаренко завёл у себя такие порядки, что никому пощады не даёт — ни воспитателям, ни ребятам. Оно не удивительно, ведь он бывший офицер.

Долго ещё стояли собеседники, изливая друг перед другом своё возмущение.

После услышанного разговора я стал понимать причину столь отрицательного отношения почти всего педагогического персонала к предстоящей реформе.

Не думаю, что положение в Куряжской колонии нравилось воспитателям и они его одобряли. В сущности, вся педагогическая работа в создавшихся условиях сводилась к отбыванию дежурства и фиксированию случайных происшествий, как кражи, пьянство, драки, которые уже давно стали обычными. Воспитатели просто свыклись с ненормальным положением и со своим ничегонеделанием. К тому же в других подобных детских учреждениях положение было не лучше.

Однажды, это было в конце марта, во время амбулаторного приёма, дверь широко распахнулась и в комнату вошёл человек, одетый в шинель, аккуратно застёгнутую на все пуговицы. Он был среднего роста, широкий в плечах. На нём были вычищенные до блеска хромовые сапоги. Он снял ушанку и протёр очки.

Через стёкла очков на меня смотрели внимательные глаза. Выражение лица было сосредоточенное, даже суровое.

— Здравствуйте, доктор, — немного охрипшим голосом произнёс вошедший.

Мы пожали друг другу руки.

— Макаренко, Антон Семёнович, — отрекомендовался он. — Да здесь у вас целый лазарет, — он посмотрел на ребят, ожидавших своей очереди. При этих словах он широко улыбнулся, обнажив золотые коронки зубов. Лицо его сразу изменилось: суровость исчезла, глаза тепло засветились.

— Прошу вас, доктор, взгляните ко мне вечером, когда будете свободны. За вами найдёт Миша.

Миша, восьмилетний мальчик, следовавший позади Макаренко, сделал по-военному шаг вперёд.

— Хорошо, — ответил я, — жду тебя, Миша, в девятнадцать ноль-ноль.

Антон Семёнович улыбнулся и вышел. Ровно в семь часов за мной явился Миша. Мальчик держался свободно и охотно отвечал на мои вопросы.

Миша мне объяснил, что он горьковец и приехал с Антоном Семёновичем в Куряж посмотреть колонию. Потом они поедут домой и расскажут обо всём хлопцам.

Я спросил, хорошо ли у них в колонии.

— Грубо, — улыбнулся Миша, — а здесь погано.

— Что именно здесь плохо? — полюбопытствовал я.

— Всё погано. Наши колонисты, мабуть, сюда не поедут. Да на что она здалась нам, ця Куряжска колония?

— Это так думает Антон Семёнович или это твоё личное мнение?

— Личное, — ответил Миша, польщённый уважительным к нему обращением.

Мы вышли. Мартовский вечер был сырой и холодный. Дул порывистый ветер. Тёмное облачное небо низко висело над землёй. Мокрый, тающий снег хлюпал под ногами.

Антон Семёнович при моём приходе встал из-за стола и пошёл мне навстречу. Длинная при тусклом свете лампы тень Макаренко легла на стену. Несколько минут мы молча разглядывали друг друга.

— Садитесь, доктор.

Постепенно наш разговор оживился. Я рассказал, что у меня давно созрело решение уйти из колонии.

— Почему вы так решили, какие мотивы вами руководили, доктор, если это не секрет? — спросил Макаренко.

— Видите, Антон Семёнович, я не удовлетворён общим положением в колонии. Я оказался бессильным в борьбе с малярией, цингой, трахомой и всякими другими болезнями. Я не в силах поднять санитарное состояние этого учреждения. Да что говорить, Антон Семёнович? Вы сами видели: дети разутые, раздетые, полуголодные и безнадзорные.

Я вспомнил где-то вычитанное выражение «утраченное детство», но не решился его произнести вслух.

— Согласен с вами, доктор, полностью согласен. Я вас понимаю. Но я прошу остаться на некоторое время в колонии. Мы ещё вернёмся к нашему разговору, может быть, при более благоприятных обстоятельствах. Наша педагогическая и ваша врачебная деятельность являются в некотором смысле антагонистическими. Я имею в виду ваш приём в амбулатории, который я наблюдаю. Эти перевязки, порошки, валерьяновые капли... Чем меньше педагогического толку, тем больше работы у врача, и наоборот. Мне кажется, что 70—80 процентов ваших пациентов приходят к вам без особой нужды, просто от нечего делать. В горьковской колонии всегда да-тями «больнички» являются новички. Колонист обращается за вра-чебной помощью только в серьёзных случаях... Но не будем сейчас об этом говорить. Признаться, я, можно сказать, бывалый сеятель на ниве просвещения, становлюсь в тупик, видя, что здесь происходит. Это не детская колония, а какая-то, извините, «малина», бандитское гнездо под самым носом у Наркомпроса. Это выглядит значительно хуже, — продолжал Макаренко, чем можно было себе представить по дошедшим до меня слухам и докладу инспектора наробраза.

Наш разговор затянулся. Было уже поздно, когда мы распроща-лись.

Не зажигая лампы, я лёг в постель, но долго не мог уснуть. Ещё и ещё раз возвращался я мысленно к разговору с Макаренко. Его бодрая осанка, строгий сосредоточенный взгляд, устремлённый на собеседника, уверенный голос, логичность рассуждений, юмор, про-стога обращения убеждали, заставляли верить, понимать, стано-виться на его позиции.

Короткий рассказ Макаренко о становлении колонии Горького, об организации детского коллектива, его смелый план преобразова-ния Курьяжской колонии возбуждали интерес и желание принять уча-стие в этом деле, разубедить неверующих и сомневающихся, до-биться успеха.

По ассоциации вспомнился разговор с Дзюбой. Мне казалось, что сейчас я мог бы с ним поспорить, опровергнуть его теории анкет и тестов.

Затем выплыло воспоминание о Васе и украденной простыне. А если Вася не украл? Если это недоразумение, ошибка? Что остаётся тогда от педологических принципов профессора Стебловского? К чему сводятся тогда «тесты-гороскопы», предсказывающие судьбу, отвергающие значение обстановки и условий жизни на развитие этой личности, на пластичность, податливость характеров этих мальчиков?..

«...Не созерцать с высоты Олимпа, а бороться за них, чтобы вернуть им настоящую жизнь!» — эти слова я несколько часов тому назад услышал от педагога и человека и поверил ему.

ГЛАВА 5

Макаренко оставался в колонии ещё несколько дней. Через окно я много раз видел его стройную фигуру. За ним неизменно следовал маленький Миша, широко растягивающий шаг, чтобы не отстать. Потом их не стало видно.

После отъезда Макаренко педагоги и другие служащие стали упаковывать свои вещи и увозить их на крестьянских подводах в го-род.

Ребята стояли долго возле подвод и глазели на домашний скарб, укладываемый возчиками на высокие подводы. Что интере-совало ребят, трудно было понять. Во всяком случае, владельцы имущества проявляли большую бдительность и не раз пересчиты-вали свои узлы и чемоданы. Ребята не обижались, а некоторые да-же предлагали свои услуги, однако получали категорический отказ, что тоже не вызывало у них обиды.

Дни стали солнечные и по-весеннему ясные. В полдень на по-верхности стен собора можно было наблюдать выходящий вверх прозрачный дымок. Это испарялась на солнце вешняя вода.

Однажды, после обеда, я стоял на крылечке флигеля. Ко мне подошёл мальчик, лицо которого показалось знакомым. Он нереши-тельно остановился в нескольких шагах от меня.

— Что скажешь? — спросил я его.

— Ничего, — ответил он, — только напрасно вы так думаете, не сойти мне с этого места.

— Ничего не понимаю. О чём ты говоришь? — Я вспомнил, что это Федька, друг Васи. — Тебя Вася послал? Видно, совесть заговорила.

Федя мотнул головой.

— Нет, сам пришёл, не сойти мне с этого места. Федька сделал ещё шаг вперёд.

— Вы, доктор, это самое, не думайте, что Васька украл простыню. Это не он, честное слово, не сойти мне с этого места.

— Но простыня сама не ушла!..

— Не ушла, — согласился Федька, — только Васька её не брал.

Чёрные Федькины глаза смотрели на меня, не мигая, и в них я уловил настойчивое желание рассеять мои подозрения, внушить доверие к его словам.

— Ну, что ж, если ты так авторитетно мне заявляешь, что Вася не украл, то докажи.

— А боюсь доказать. Мне тогда хана. Доктор, а можно вечером зайти к вам с Васькой?

— Приходите.

Вечером я впустил мальчиков в комнату. Они долго вытирали у дверей свои дырявые ботинки.

Я усадил их на табуретки. Вася, как мне показалось, похудел. Он держался вначале неуверенно, смотрел в сторону и помалкивал. Федя чувствовал себя свободнее и сразу без предисловия начал разговор.

— Вот пацаны говорят, що ця колония Горького та-ка сама, як наша.

Это заявление было для меня несколько неожиданным. Мне казалось, что на повестке дня у нас другой вопрос.

Какие **это** пацаны так говорят? — спросил я.

— Та все, — уклончиво ответил Федя.

— Так ты им скажи, что они ничего не знают. Ты слышал, что рассказывал этот хлопчик Миша, который приезжал с Макаренко?

У них в горьковской колонии порядок, все работают и учатся, а некоторые уже на рабфаке. Знаешь, что такое рабфак?

Мальчики молчали и сопели носами.

— А нас отсюда не погонят? Вот пацаны говорят, что всех куражских хлопцев переведут в другую колонию, в Люботин или ещё куда, — тихо проговорил Васька.

— Опять ваши пацаны врут. Если у вас есть желание учиться и жить по-человечески, то не беспокойтесь. Всё будет хорошо. Только за кражи там строго наказывают. Выгоняют с позором.

— А мы этим не занимаемся. Пусть не заставляют и по морде не бьют, — обижено проговорил Федька.

— Кто же вас заставляет красть?

Мальчики, перебивая друг друга, рассказали мне, что старшие ребята под угрозой побоев заставляют меньших и более слабых ребят совершать кражи в городе, на базаре, в самой колонии — словом, где придётся, и приносить им ворованное.

Я уже об этом слышал раньше.

— Значит, тебя кто-то заставил украсть простыню в «больничке»? Так, что ли?

— Нет, — твёрдо ответил Вася. — Я не крал, но знаю, кто украл.

Мальчики посидели ещё с полчаса и ушли очень довольные, улыбающиеся, полные самых лучших надежд на будущее.

ГЛАВА 6

Майский ветерок врывался в пропитанную запахом пота и немых тел амбулаторную комнату.

Приём больных приближался к концу. В открытом окне показались взволнованная физиономия Васи. Ухватившись за подоконник, он крикнул:

— Доктор, хлопцы, скорей выходите. Горьковцы идут.

Вмиг моих пациентов не стало. Я вышел. Со всех сторон к воротам бежали мальчишки. Я последовал за ними.

По пыльной дороге двигалась колонна горьковцев. Они шли строем по шести в ряд. Впереди трубачи и барабанщики. За ними

Антон Семёнович в белой навypуcк рубашке, охваченной в талии узким кавказским пояском. Рядом с ним мальчик с красной повязкой на рукаве, а за ними стройные ряды колонистов в белых майках и синих трусиках, с вышитыми тюбетейками на макушках. В центре колонны шли девочки в синих юбках. Барабанщики с увлечением били в барабаны.

Это торжественное шествие ребят, их сосредоточенный и мерный шаг, трогательные лица вызвали во мне какую-то внутреннюю дрожь и волнение.

У ворот толпились куряжские ребята. Они молча смотрели на марширующих горьковцев.

Колонна подошла к ограде. По приказу Макаренко горьковцы, сделав несколько шагов на месте, остановились. Антон Семёнович вышел из строя и обратился к куряжским ребятам с краткой речью. Он сказал, что советское государство нуждается в трудолюбивых и честных гражданах, что Великая Октябрьская революция уничтожила паразитические классы, эксплуатировавшие трудовой народ.

— Вы — дети трудового народа, дети рабочих и крестьян. Вы не должны быть паразитами нового социалистического общества. Я призываю вас начать новую трудовую жизнь. Отныне есть одна трудовая колония. Это колония имени Горького. Отныне вы составляете один трудовой коллектив. Работать и учиться. Учиться и работать — вот наш девиз. Быть достойными гражданами первого в мире социалистического государства!

Антон Семёнович говорил негромко, не жестикулируя, несколько отрывисто. Ребята жадно ловили его слова.

Потом последовала команда:

— Вольно!

Строй горьковцев сломался. Ребята рассыпались по двору.

Я подошёл к Антону Семёновичу. Сняв с головы белую фуражку-капитанку, он обмахивал ею потное лицо. Рядом с ним стояло несколько женщин и мужчин, по-видимому, начальство. Разговор, который вёлся, как мне показалось, был ему не по душе. Увидев меня, он обрадовался и обратился ко мне с вопросом:

— Ваше первое требование, доктор?

— Первое требование, Антон Семёнович, залить пруд под горой нефтью. Малярия буквально косит ребят. Необходимо срочно уничтожить комаров и их личинки.

— Зачем же, доктор, прибегать к полумерам? Пруд можно полностью очистить: воду спустить, всю вековую грязь вывезти. Затем нужно устроить пляж. Ребята будут купаться и загорать, и никаких личинок не будет. Как ваше мнение?

— Я, конечно, согласен и не только согласен — я приветствую, но это, мне думается, в какой-то далёкой перспективе, а малярия у нас сегодня.

— Очистка пруда начнётся завтра. Завтра утром, доктор. А сегодня приходите на общее собрание. Вы услышите об очистке пруда и о многом другом, что вас обрадует.

ГЛАВА 7

Прошло несколько недель после приезда горьковцев в Куряж, и всё вокруг изменилось. Это произошло, конечно, не сразу, не в один день. Но перемены происходили в колонии так естественно, даже привычно, что, казалось, другого не было и не могло быть.

В 6 часов утра сигнал на побудку, топот босых детских ног, весёлые возбуждённые голоса, шутки и смех, потом построение по отрядам и работа в поле, на дворе, у пруда, у свинарника, конюшни, в мастерской, на кухне, в клубе — словом, везде, где нужен труд человека, чтобы создавать и строить, чтобы жить по-человечески.

В амбулатории работа утром продолжается не больше 30-40 минут, когда ребята после завтрака забегают, чтобы проглотить поршок хинина, перевязать чирей или смазать обожжённые солнцем плечи. Потом наступает тишина. Я встаю со стула, снимаю халат и подхожу к раскрытому окну. Ветки пахучей сирени слабо быются о стёкла, роняя нежные цветы на землю. В «больничке» ещё чувствуется запах покрашенных полов и оконных рам.

Я стараюсь осмыслить происходящее. Вот недавно здесь были грязь, запустение, распушенность, анархия, болезни, тоскливое чув-

ство своей беспомощности, мрачные мысли, с которыми не могла справиться моя молодость.

Сейчас свежая побелка покрыла стены корпусов и одноэтажных домиков, сделала их празднично нарядными. На клумбах зазеленела трава,— и тонкие стебельки цветов потянулись вверх, подставляя голубому небу свои маленькие бутоны. Жёлтым гравием посыпаны дорожки.

Солнце ярко светит и греет, как будто не было зимней стужи, колючего ветра и снежных сугробов...

Работа по очистке пруда под горой, несмотря на свою, так сказать, конкретность, казалась мне символичной. Вот ребята в одних трусиках, перепачканные с головы до ног в густой жирной грязи, грузят эту грязь, перемешанную с тиной, с торчачими в ней водорослями на тачки и вывозят к подножию горы. Зеленоватая, вонючая вода по стоку течёт вниз. Обнажается дно пруда. Горячее украинское солнце выпаривает эту жижу, а поддонные родники уже заполняют студёной прозрачной водой широкую чашу.

В этом я вижу знамение сегодняшнего дня колонии и, быть может, не только детской колонии, но всей нашей жизни двадцатых годов.

Но кто же он, кто этот человек, который взял на себя этот труд, который взвалил на свои плечи огромную тяжесть и несёт не гибаясь? Кто он, Макаренко?

С пристальным вниманием я всматриваюсь в этого человека.

Я вхожу в кабинет Антона Семёновича. Трудно эту большую комнату с огромными сводчатыми окнами назвать рабочим кабинетом. Небольшой письменный стол стоит за выступом печи, разделяющей комнату на две неравные части. На столе письменный прибор под серый мрамор и мелкие безделушки: перочинный ножик, разных размеров щипчики, винтики — словом, предметы, на которые ребята всегда смотрят с вожделением. Возможно, что в этом имеется тонкий педагогический расчёт: хлопцев, ты видишь соблазнительные вещички, они лежат, собственно, без присмотра, ведь любой воспитанник может беспрепятственно в любое время зайти в кабинет к Антону Семёновичу, ты видишь эти вещички, а в кабинете

никого нет, возьми, ну хотя бы этот маленький перламутровый ножичек, никто не узнает. Но ты же не возьмёшь ничего, так как ты колонист, горьковец, именно горьковец. Ведь только вчера вечером ты получил письмо от М. Горького, письмо читали вслух на собрании. Это письмо адресовано всем колонистам и тебе, конечно, в том числе. В конце концов, на черта тебе этот ножичек. Он лежит тихонько на столе у Антона Семёновича и пусть лежит на здоровье. И хлопцев толкает дальше, довольный своей маленькой победой над собой.

Я сажусь на круглый деревянный стул и жду. На лестнице раздаются оживлённые голоса и среди них — голос Макаренко с характерной хрипотцой. Шаги его твёрдые, но без нажима, походка энергичная, но без торопливости, речь уверенная, но без поучения. С ним легко вести беседу. Он не перебивает собеседника, но не любит, чтобы его перебивали; он остроумен, но не любит грубых шуток.

— А, доктор, вы здесь? — Удивительно, как улыбка меняет его сухое лицо. В этой улыбке нет ни фальши, ни натянутости, нет ничего другого, кроме ободрения, ласки. И это сразу располагает, снижает настороженность, недоверчивость. Эта улыбка, как искреннее рукопожатие.

Я начинаю разговор.

— Антон Семёнович, сегодня в «больничку» приходил Павлов Жея. Жалуется, что руки и ноги у него болят. Не спал, говорит, всю ночь. А кожа на спине у него сходит пластами. Просит перевести его на другую, более лёгкую работу.

Макаренко бросает на меня острый взгляд и садится напротив за свой стол.

— Жея Павлов? Жалуется, говорите? Вы его послушали, обследовали? Что вы нашли в его организме?

— Собственно говоря, ничего особенного, кроме обычного солнечного ожога. Кожа у него необычайно белая и чувствительная к солнечным лучам.

— А душа тянется ко всякой дряни. Отец его был не то директор гимназии, не то городской голова. После революции «голова»

опустился, запил, бросил семью и умер где-то в ночлежном доме. Мать привела сына в колонию. Плакала и умоляла спасти его от гибели, так как его засасывает улица, уголовщина. После долгих разговоров пришлось взять. Сейчас начинаю раскаиваться.

— Вы понимаете, доктор, — продолжал Антон Семёнович, — вся беда в том, что у этого пятнадцатилетнего парня нет внутренней опоры, нет индивидуальности. Он состоит только из мяса, а костей нет. Лепишь-лепишь, придаёшь определённую форму, смотришь, через некоторое время всё расплзлось, растеклось, как снежная баба под мартовским солнцем. Нет, доктор, Павлова жалеть нельзя! Меня тревожит другое: исправят ли его в конце концов наш коллектив и труд? Он в колонии уже около года и до сих пор смотрит на труд, как на самую неприятную обязанность. Не видит и не хочет видеть никаких завтрашних перспектив, с ребятами не дружит. Ну, а солнечный ожог, — заканчивает Антон Семёнович, — придётся, должно быть, смазать жиром. Это поможет... коже, разумеется.

В кабинете у Макаренко людно. Ребята приходят сюда за делом и без дела. Командиры отрядов сообщают о событиях текущего дня, получают распоряжения, советы, указания, поднимают правую руку и чётко говорят:

— Есть!

Антон Семёнович в обращении с ребятами всегда сдержан и немногословен. И всё же порой он выходит из себя.

Гнев вызывают у него проступки, которым трудно найти какое-нибудь логическое обоснование, по своей природе примитивные, бессмысленные, иногда, может быть, даже мелкие, несостоящие. Возможно, другой педагог прошёл бы мимо такого проступка, не обратив внимания. Но Макаренко остро реагировал на него, ибо такой, пусть даже мелкий, факт вносил диссонанс в общий, господствующий в колонии тон, нарушал установившуюся традицию и нормы поведения коллектива.

Помню, однажды в кабинете по обыкновению было много ребят. Антон Семёнович, сидя за своим столом, внимательно читал какие-то записи в толстой самодельной, в чёрном коленкором переплё-

те тетради. Сдержанный гул голосов, по-видимому, не мешал ему сосредоточиться. Вдруг произошло какое-то движение: толпившиеся в комнате ребята расступились, и к столу подошла, сильно припадая на ногу, дежурная воспитательница. Лицо её сохранило ещё следы перенесённой физической боли, но она старалась себя превозмочь. А сзади, слегка подталкиваемый ребятами, за ней шёл рослый лет шестнадцатипаренёк.

Антон Семёнович поднял голову и вопросительно посмотрел на воспитательницу.

— В чём дело, Вера Николаевна?

— Ничего, Антон Семёнович, пустяки. Я поднималась сейчас по лестнице, на меня наскочил Силантьев. Наскочил и больно ушиб, а ребята говорят, что это не нечаянно, а нарочно, и привели его сюда.

Антон Семёнович прячет тетрадь в ящик стола и спокойно обращается к Силантьеву.

— Ну, что ж, Силантьев, я не допускаю мысли, что ты это нарочно сделал. Не правда ли?

Силантьев упрямо молчит.

— Ладно, Силантьев, ты нечаянно толкнул Веру Николаевну. Может быть, тебя другие ребята толкнули, и ты наскочил на проходившего человека. После этого что тебе следует сделать? Следует извиниться. Так? Ну вот, извинись перед Верой Николаевной, и вон прос будет исчерпан.

В наступившей тишине чувствуется напряжённое внимание ребят.

Силантьев обводит глазами комнату, смотрит на потолок, скользит взглядом по лицам ребят и молчит.

Пауза.

Антон Семёнович уже более твёрдым голосом:

— Силантьев, извинись перед Верой Николаевной. Силантьев, оттопырив толстую нижнюю губу, равнодушно обводит взглядом стены и потолок.

— Силантьев, извинись сейчас же.

Силантьев смотрит на стоящих поблизости ребят и взглядом ищет их сочувствия и поддержки. На губах его появляется усмешка.

Антон Семёнович сильно бледнеет, он опирается руками о край стола и приподымается со стула. Медленным шагом подходит к Силантьеву. Руки его заметно дрожат. Он смотрит в упор на Силантьева.

Сердце у меня замирает. Сейчас произойдёт что-то ужасное.

Силантьев делает шаг назад, испуганно озирается и что-то шепчет.

Кто-то из ребят бросает ему:

— Шлана, зараза проклятая! Гул возмущения нарастает.

Силантьев делает полоборота в сторону Веры Николаевны и бормочет извинения.

Антон Семёнович возвращается на место.

Сопровождаемый ребятами Силантьев идёт к выходу. Несколько увесистых подзатыльников ускоряют его шаг.

— Не трогать его. — Антон Семёнович в изнеможении садится на ступ.

В кабинете снова слышатся оживлённые разговоры ребят и сдержанные взрывы смеха.

ГЛАВА 8

Сцена с Силантьевым несколько дней не выходила у меня из головы. Я чувствовал, что истинный смысл происшедшего скрыт от меня, потому что я не обладал никакими педагогическими знаниями и опытом. Вместе с тем я увидел в Макаренко человека непосредственного, эмоционального, готового, быть может, на некоторые крайности, но уверенного в своей правоте, и самое главное, опирающегося на ребят, на их поддержку.

Я решил вызвать Антона Семёновича на разговор и коснуться некоторых принципов его педагогической системы.

Поздно вечером, после того, как прозвучал сигнал: «Спать пора, спать пора!» и в колонии наступила тишина, я зашёл в кабинет и застал Антона Семёновича за письменным столом. Он был погружён в чтение какой-то книги.

Минут пять я сидел, наблюдая за лицом Антона Семёновича. Брови его были сдвинуты, взгляд довольно быстро скользил по строчкам, выражение лица было сердитое. Потом он оторвался от чтения и возмущённо воскликнул:

— Ну что они пишут, доктор? Я думаю, что в медицине таких глупостей не скажешь. Вы, медики, находитесь в более счастливом положении, чем мы, педагоги. Несмотря на несовершенство медицинской науки, которая одной ногой ещё опирается на эмпирику, врач, руководствуясь некоторыми строго научными законами хотя бы из области анатомии, физиологии, химии, приносит пользу большему человеку. Кроме того, врач довольно скоро видит результаты лечения. Человек болен, страдал, кашлял, метался, бредил, а через некоторое время, бегает и забывает о перенесённых страданиях. Затем вы в своей практике можете убедиться, что такое-то лекарство могло, а другое никуда не годится... Я немного упрощаю, но в общем это так. Согласитесь, что даже посредственный врач большого вреда пациенту не принесит. А педагог? Без творчества, без каждогодневного самоанализа он уподобляется человеку, вбивающему гвозди в подметку куда и как попало, и эти гвозди будут не скреплять подошву, а вылезать и колоть ступню. А через какое время педагог сможет увидеть пользу своего воздействия на душу ребёнка?

— Возможно, вы правы, Антон Семёнович,— заметил я.— Но мне хотелось бы от вас услышать, какими педагогическими принципами и методами руководствовались вы сами, создавая горьковскую колонию? Я не думаю, что этот коллектив возник стихийно или благодаря стечению счастливых обстоятельств. Если бы это было так, то коллектив давно уже распался бы и тем более не мог бы «родить» новый организованный куряжский коллектив. А ведь я присутствовал при этих родах, и должен вам признаться, до сих пор не могу прийти в себя от удивления.

— Вы, доктор, дотошный человек. Постараюсь вам ответить хотя бы в общих чертах.

Да, по воле судеб я попал когда-то в закрытую клетку с дикими зверёнышами. Это были уже повзрослевшие экзemplяры, и приру-

чение их было не только трудным, но и опасным делом. Моральные факторы, играющие такую большую роль в нормальном коллективе, здесь не имели никакой силы, никакого значения. Сплотить этих запущенных ребят, направить их энергию на удовлетворение самых неотложных нужд, сколотить какое-то подобие коллектива можно было, только предьявляя императивные требования, не подкрепленные почти никакими мотивировками. Роль воспитателя в этих условиях являлась решающей. Успех зависел от решительности, смелости, глубокой внутренней убежденности воспитателя и веры в человека. Это был первый этап организации колонии. Однако такое состояние не могло долго продолжаться по многим причинам. Стоило только воспитателю ослабить волю и требовательность, он начал терять свою власть. И тогда вся, с таким трудом созданная организация, начинала трещать по швам и грозила погибнуть.

Поэтому необходимо было создать вокруг себя небольшой на первых порах актив ребят, который понял бы целесообразность для всего коллектива и для каждого его члена требования воспитателя, справедливость этих требований. Необходимо было привлечь в этот актив наиболее решительных ребят и суметь разглядеть под толстой корой наслоенной нужные качества души. А затем совместными усилиями педагогов и актива привлечь на свою сторону всю массу или хотя бы большую часть ребят.

Это был второй этап работы.

На третьем этапе вырос и окреп тот коллектив детей, который вы сейчас видите. Этот коллектив живёт и развивается как полноценный социальный организм и является самым требовательным и самым лучшим воспитателем. Этот коллектив будет жить и развиваться, так как он связан крепкими узами со всей нашей страной, строящей социалистическое общество.

Антон Семёнович лукаво посмотрел на меня.

— Я вас не утомил своими рассуждениями? Будь на вашем месте не врач, а педагог, он уже двадцать раз перебил бы меня, а вы ничего — терпите.

— Тогда я воспользуюсь своим положением «непедагога» и дам вам вопрос. Скажите, Антон Семёнович, значит ли это, что на третьем этапе ваша роль как воспитателя почти заканчивается?

— Нет, конечно, не значит. Может быть, наша роль воспитателей в хорошо организованном коллективе только начинается. Мы получаем возможность влиять на весь коллектив через его организацию: через совет командиров, комсомольскую ячейку и т. д. Организационные формы коллектива могут быть разные, и жизнь сама подсказывает, что в данных условиях и на данном этапе целесообразнее создавать. Меня, в частности, упрекают за военизированный уклад жизни нашей колонии: командир, совет командиров, «есть» и даже за сигналы трубы. Это, конечно, близорукая критика. Не в этом суть дела. Мы, воспитатели, на третьем этапе почти застрахованы от срывов в педагогической работе, так как в организованном детском коллективе решающей силой является общественное мнение самого коллектива, то есть отношение детского коллектива к действиям его членов. И это отношение для его членов является решающим и самым авторитетным. А наше дело направлять работу детских организаций, указывать коллективу радостные перспективы завтрашнего дня, выбирать правильные пути движения, учить и готовить к самостоятельной трудовой деятельности.

На этом месте наша беседа неожиданно оборвалась. Висевшая под потолком лампочка предостерегающе мигнула три раза, давая знать, что рабочий день электростанции заканчивается. Движок отстукивал последние обороты.

В нашем распоряжении осталось десять минут, чтобы добрать-ся домой. Мы распрощались.

ГЛАВА 9

С некоторых пор наш обширный двор стал оглашаться громкими звуками разных музыкальных инструментов: кларнета, валторны, флейты и даже барабана. Вы спокойно проходите мимо открытых окон, и вдруг оглушительная октава, как стон доисторического зверя, заставляет вас вздрогнуть всем телом.

Это ребята музыкантской команды приобщаются к искусству. Для организации собственного духового оркестра был пригласён из Харькова дирижёр Левицкий, в далёком прошлом капельмейстер одного из Чугуевских полковых оркестров. Левицкий оказывается моим соседом. Нам отведена двухкомнатная квартира на территории колонии.

Левицкий — полный, рыхлый мужчина лет за сорок. Он носит синие галифе с кантом и френч, на котором остались следы погон. Человек он общительный и весёлый. Каждое утро он выходит на крылечко и наводит зеркальный блеск на сапоги, затем долго умывается возле ступенек, у клумбы, фыркает, полощет водой горло.

Вечером мы возвращаемся домой и пьём чай из медного котелка, имеющего, судя по вмятинам и царапинам на нём, большой до-революционный стаж.

За чаем мой сосед делится впечатлениями прошедшего дня. Тон у него приподнятый.

— Нет, вы только послушайте, доктор, какие это славные хлопцы! Обходительные, вежливые, слова грубого от них не услышишь: всё Пётр Иванович да Пётр Иванович. А стараются изо всех сил. Через месяц-полтора у нас будет духовой оркестр не хуже, чем при клубе ХПЗ¹. Можете мне поверить.

Я ему охотно верю.

Все новости и события, совершающиеся в колонии, как по беспроволочному телеграфу, доходят до ушей Петра Ивановича незамедлительно. Он знает всех в колонии, и его все знают. Он имеет знакомых и в Подворках. Бабы носят ему подёрнутое сверху вкусно пахнущей коричневой плёнкой топлёное молоко и яйца.

Левицкий крепко стоит на земле и не любит отвлечённостей. Всё, что выходит за пределы конкретных вещей и понятий,— для него ненужная философия. Всё музыкальное искусство, кажется, укладывается у него в маршах и танцах.

Пётр Иванович восторженно отзывается об Антоне Семёновиче.

— Какой великий организатор! Вы понимаете, доктор? Четыреста беспризорных ребят вчера шныряли по базарам, выхватывали сумки из рук, залезали в карманы, спали на тротуарах, грязные, вшивые, оборванные. И вот собрал этот человек беспризорных, ворюшек, бродяг, собрал их вместе и сделал из них честных, вежливых, трудолюбивых людей. Так ведь? Сделал из них честных людей,— повторяет Пётр Иванович.— Вот я вам приведу такой пример. Вы, может быть, доктор, и не обратили на это внимания. Под нашими окнами, вы видите, растут два вишнёвых дерева. Я на них часто смотрю. Смотрю, как много вишен уродилось на них в этом году. Каждое утро я просыпаюсь и думаю: «Хлопцы, наверно, ночью оборвали вишни». Что здесь удивительного? Мальчишки ведь. Я и сам мальчишкой обрывал яблоки и вишни в чужих садах. А пред-ставьте себе, поспели вишни, стали уже чёрными, а висят. И вот вчера пришли из кухни два хлопца с корзинками и аккуратно сняли вишенки все до последней ягодки и понесли на кухню компот варить. Вот как! Как же это понимать? Ор-та-ни-зация, доктор, организация! Вот в чём секрет. Перед такой личностью, как Антон Семёнович, я преклоняюсь, преклоняюсь и больше ничего.

В другой раз, когда разговор коснулся Антона Семёновича, он мне по секрету сообщил, что Макаренко нередко отдаёт свою зарплату на нужды колонии.

— Конечно, жены и детей у него нет. Одна престарелая мать на иждивении, а всё же деньги каждому нужны. Нет, непрактичный человек Антон Семёнович, непрактичный. Смотрите, целый день на ногах, во всё вникает, всё близко к сердцу принимает, обо всём заботится, а польза от этого ему какая? Не понимаю.

Но с каждым днём его отзывы об Антоне Семёновиче становятся всё более сдержанными и менее восторженными. Он, правда, не забывал добавлять, что он перед такой личностью преклоняется, однако...

Наше вечернее чаепитие вскоре прекратилось. Пётр Иванович стал приходить поздно, когда я уже лежал в постели. Я слышу, как он, опрокидывая то ведро, то кружку, пробирается на цыпочках в свою комнату. А утром я замечаю, что лицо его одутловатое и под

¹ ХПЗ — Харьковский паровозостроительный завод.

глазами мешки. Он торопливо здороваются и, умывшись, уходит на целый день.

Однажды Пётр Иванович пришёл раньше обычного. Я сидел на крыльце, любясь вечерним багровым закатом.

Пётр Иванович, тяжело ступая, прошёл в свою комнату, но минут через десять вышел без френча и в носках. Он грузно уселся на ступеньку и тяжело задыхался. Я почувствовал запах водки и чеснока.

— На-по-леон,— нараспев произнёс Пётр Иванович.— Строит из себя Бонапарта. Подумаешь, институт для благородных девиц! Я из них музыкантов сделал, духовой оркестр создал, а мне каждый день замечания и предупреждения. «Я пить водку в колонии не разрешаю»,— передразнил кого-то Пётр Иванович.— А я разве пью? Я выпиваю и своё дело делаю. «Я не могу в колонии держать педагога пьяницу,— опять, подражая, по-видимому, голосу Антона Семёновича, продолжал Пётр Иванович.— Вы подаёте им плохой пример, а в колонии педагоги должны подавать только хороший пример — это их главная задача». Хочет из меня педагога сделать. Скажу вам, доктор, откровенно: все стонут от него, всех держит в кулаке, вот так.— Пётр Иванович показал мне свой кулачище.— Ведь педагоги только и делают, что с утра до вечера работают в этих сводных отрядах. Разве это дело педагогов? Ты педагог — так учи, указывай, наказывай. А у него педагог — только пример, только наглядное пособие по педагогике. Работай, как простой рабочий в поле, в мастерской и бог его знает где.

Пётр Иванович замолчал, но ненадолго.

— Помню, в гимназии. Учитель — в синем мундире. В петлицах серебряные звёздочки. Бывало, вынет из кармана белоснежный платок — в классе запахнет тонкими духами. Попробуй, пошли его на чёрную работу... Ха-ха-ха! А директор гимназии — статский советник, или лучше, действительный статский советник...

Голос Петра Ивановича становится всё тише. Голова опускается на грудь. Он шарит около себя рукой и растягивается на ступеньке. Вскоре слышится его храп. С трудом мне удаётся поднять его и отвести на койку.

В воскресенье с утра в колонии оживление. У ребят приподнятое настроение, они суетятся, куда-то бегут, спешат. Слышатся голоса командиров, поторапливающие колонистов. Предстоит поход в город. Антон Семёнович в белом кителе с белой фуражкой на голове, в синих галифе стоит у церковной ограды и нетерпеливо поглядывает на большие ручные часы.

Но вот уже строятся отряды.

Несколько в стороне собрались музыканты. Медь инструментов сверкает на солнце. Слышатся короткие звуки настраиваемых труб. Наконец шум смолкает. Оркестр выходит вперед. Ждут Петра Ивановича. Но дирижёра нет. Антон Семёнович подзывает трубача и что-то ему говорит. Мальчик снимает трубу с плеча и бежит по направлению к нашему дому.

Проходит минут пять, и мальчик бежит назад и что-то рапортует Антону Семёновичу. Я вижу, как мрачнеет его лицо. Он снова сморит на часы. Но вот показывается толстая фигура Петра Ивановича. Он идёт медленно, чуть пошатываясь. Так же медленно подходит он к Антону Семёновичу, подносит руку к козырьку и заплетающимся языком, но довольно громко говорит:

— Есть, товарищ завкол. Капельмейстер Левицкий явился по вашему приказанию по всей форме!

Эта сцена разыгрывается перед строем ребят. Антон Семёнович бледнеет.

— Вы свободны, товарищ капельмейстер. С сегодняшнего дня вы уволены.

Пётр Иванович смотрит на Антона Семёновича осоловелыми глазами и пытается что-то сказать. Но Антон Семёнович уже поворачивается к нему спиной и идёт к оркестру.

— Хлопцы, сегодня будете играть без дирижёра. Не подведите.

— Есть играть без дирижёра. Не подведём, Антон Семёнович.

Грянула музыка. Отряды колонистов, равняя шаг, выходят со двора.

ГЛАВА 10

Этот трагический случай заставил нас остро почувствовать, что детская колония не изолирована от внешнего мира, что процессы, происходящие стране, не обходят колонию, что классовый враг не смирился.

Белые хаты села Подворок не такие уж идилические, как кажутся при лунном свете, и не все с улыбки встречают стройные ряды колонистов, марширующих с музыкой по пыльной просёлочной дороге в дни революционных праздников. Куркули не могут забыть, что много гектаров земли отрезано у них в пользу колонии, где с утра до позднего вечера под руководством светловолосого агронома работают бывшие беспризорники, Нет, этого простить Советской власти нельзя. В Подпорках в куркульских хатах нашли себе приют бывшие монахи и послушники Куряжского монастыря. Эти церковные агитаторы плетут свою паутину среди «обиженных» и не довольных рабоче-крестьянской властью. «Чёрная сотня» собирает свои силы и организуется. Она торопится, она спешит, ибо Советская власть укрепляется, восстанавливаются заводы и фабрики. Налаживается жизнь.

Но открыто бороться нет сил, и ещё не наступило время. Пока они пытаются вредить исподтишка: прятать хлеб, спекулировать, обирать город, сеять разные нелепые слухи, пугать, а там, где представляется случай, насиловать и убивать...

...Было часов семь утра, когда я услышал громкий стук в дверь. На пороге стоял Антон Семёнович.

— Едем, доктор, скорее, по дороге всё расскажу. Я поспешил во двор.

Мы сели на бричку. Хлопец на козлах рванул вожжи и сердито хлестнул лошадей. Выехав со двора, мы свернули на дорогу в Харьков.

— Вы знаете Осю Зильбера, колониста с чёрными курчавыми волосами?

— Да, Антон Семёнович, третьего дня он приходил в амбулаторию и рассказывал, что на днях уезжает к родным, в Польшу.

— Только что получил известие, что в километрах двух отсюда нашли его труп.

Я посмотрел непонимающими глазами на Антона Семёновича. Он сидел, наклонившись вперёд. Губы были плотно сжаты; цвет лица приобрёл землистый оттенок.

Мы проехали низкорослый ельник и увидели впереди у большой сосны несколько крестьянских подвод. У густого кустарника лежало тело подростка. Руки его были раскинуты, бескровное лицо обращено вверх. Белая рубашка пропитана запёкшейся кровью. Длинные навывпуск штаны изодраны в коленях, на ногах коричневые ботинки на толстой подошве. Возле трупа стоял милиционер.

Столпившиеся крестьяне молча смотрели на убитого. Бабы кончиками белых платков вытирали слёзы.

Ждали следователя из города. Никаких следов ограбления не было видно.

Милиционер показал нам документы, которые выпали из кармана убитого. Здесь был пропуск на выезд из страны и удостоверение личности.

Мы с Антоном Семёновичем отошли в сторону.

— Что вы думаете об этом, Антон Семёнович? — тихо спросил я.

— Это месьт классового врага. Ося — невинная и случайная жертва этих бандитов. Какой трагический, какой ужасный случай! Вчера мне из города позвонили и попросили прислать Осю в Помдет¹ за получением документов на выезд к родным в Польшу. Я его отпустил, забыв предупредить о том, чтобы он вечером не возвращался в колонию, а заночевал бы в городе. Он так спешил поделиться своей радостью, что не посчитался с риском. На поезд до Рыжова он, видимо, уже опоздал и пошёл пешком по этой дороге.

От волнения голос Антона Семёновича стал почти совсем беззвучным.

¹ Помдет — комиссия ВЦИК по улучшению жизни детей, организованная советским правительством в 1921 году.

ГЛАВА 11

Дела в колонии шли своим чередом.

Высокая каменная стена, опоясывавшая двор, была разобрана, и кирпичи пошли на постройку свинарника. С утра до позднего вечера с полей вывозился хлеб. В школе и спальнях шёл ремонт. На открытой галерее стояли свежеекрашенные парты и школьные доски.

Хлопотливый день начинался с утренней зарей и кончался в сумерках.

Антон Семёнович был неутомим. Пожился спать очень поздно, а рано утром, ещё задолго до сигнала, был уже на ногах. Он заметно осунулся, скулы его заострились.

За день нужно было проделать тысячу дел: выслушать сотни обращений и просьб, дать указания и советы, сделать замечания, принять участие в заседаниях совета командиров и комсомольской ячейки, связаться по висячему, с вертящейся ручкой, телефону с Помдетом, Наркомпросом, губисполкомом и другими учреждениями, от которых зависело благополучие колонии. Между делом необходимо было заучить свою роль к субботнему спектаклю в клубе и занести в заветную тетрадь интересные выражения и характерные слова, случайно подслушанные у ребят.

Больше всех огорчалась мать Антона Семёновича. Давно уже остыл приготовленный на керосинке обед, соус к кабачкам стухнул и покрылся липкой плёнкой, а Антона Семёновича нет и нет. Струшка сидит на крыльце и неотступно смотрит на двери белого двухэтажного дома, где помещается «контора».

Но Антон Семёнович появляется с другой стороны и всегда нежданно.

— Заждались, мама, а я уж проголодался.

— Ах, Антоша, да разве так можно? Утром на ходу чаю выпил, а сейчас солнце, гляди, уже на закате, а ты только обедать приходишь. Не жалеешь своего здоровья, Антон. Худой ты стал. Не дай бог, заболеешь.

Следователь долго не приезжал. Небо заволочло тучами. Пошёл крупный дождь. Крестьяне уехали. Наш возница заботливо прикрыл коня рогожей, а мы всё стояли и ждали, изредка бросая взгляды на тёмную фигуру убитого.

Дождевые капли стекали с его лица, и казалось, что это не капли, а слёзы текут из полузакрытых глаз...

Через два дня состоялись похороны. Гроб, обитый красной материей, вынесли из клуба. Напряжённым молчанием встретили его стоящие в строю колонисты. Из рядов девочек доносился сдержанный плач.

Протяжные, трагические звуки траурного марша наполнили сердца шемящей болью.

Процессия медленно двинулась вслед за гробом.

У свежей могилы Антон Семёнович срывающимся голосом сказал, обращаясь к ребятам:

— Погиб настоящий колонист, Ося Зильбер, который жил с нами почти два года. Здесь, в колонии, он нашёл свой второй дом, а в нашей стране — вторую родину. Здесь, в колонии, он учился, работал, мечтал вырасти преданным рабочему классу человеком. Банальный нож оборвал прекрасную молодую жизнь. Кулаки и изуверы хотят вернуть капиталистическое прошлое, надеть на шею трудящимся старое ярмо. Но этому никогда не бывать. Проклятому прощому нет возврата. На смерть комсомольца мы ответим нашей сплочённостью, нашим трудом, нашей преданностью рабочекрестьянской власти и большевистской партии.

Снова зазвучали бесконечно грустные звуки траурной мелодии, и гроб медленно опустили в глубокую могилу.

Мы возвращались домой. Строй ребят был нарушен, но никому не хотелось давать команды. Впереди показался купол Куряжского собора. И вдруг из-за туч выглянуло солнце и залило необыкновенно ярким светом деревья и высокие хлеба. Откуда-то брызнули редкие капли дождя, и радуга, вычерченная гигантским циркулем, зашуркала всеми своими красками, заняв полнеба.

На лицах ребят появились улыбки, послышалась команда «стройся», и колонна стала подниматься в гору.

— Знаете, мама, русскую поговорку: «Летний день год кормит». Вот зимой отдохнём.

— Ты отдохнёшь! — старушка недоверчиво смотрит на сына. — Не знаю уж, когда ты отдохнёшь...

Ко всем работам прибавилась ещё одна, нигде, ни в каком положении и уставе не предусмотренная. Это — приём иностранных делегаций, приезжающих посмотреть детскую колонию.

Обычно иностранцы приезжали на машинах в сопровождении ответственных работников из наркомата или губисполкома. Иностранцы ходили по двору, осматривали мастерские, хозяйственные постройки, спальни, столовую, клуб. Гости внимательно слушали через переводчиков скудные слова Антона Семёновича о прошлом и настоящем трудовой колонии и всё записывали в блокноты. Более темпераментные из них издавали восклицания, вроде: «О-ля-ля!», «Вуидердинг!» или «Олл райт!».

Однажды группа англичан осматривала колонию. Политический горизонт в описываемый период был затянут тучами, гонимыми злым ветром с Запада. Воинственный пыл лорда Керзона ещё не остыл. Политика угроз и шантажа по отношению к Советской России не прекращалась.

Английские экскурсанты, осматривая новый свинарник, обратили внимание на лозунг, написанный белыми буквами на красном полотне. Они попросили перевести написанное.

Переводчик перевёл: «Побольше английских свиной, поменьше английского свинства». Это вызвало весёлый смех и аплодисменты англичан.

Ребята-колонисты с иностранными туристами держались с большим достоинством. При встрече они вежливо салютовали, но не вызывали особого интереса и любопытства. Даже к автомашинам они старались близко не подходить. Это был стиль колонии имени Горького. Чувство собственного достоинства было свойственно не только старшим ребятам, но и малышам. Помню такой случай. Высокий, широкоплечий иностранец в спортивном костюме подходит к группе малышей. Он ласково смотрит на них, затем под-

нимает самого маленького из них на руки и начинает его бережно качать.

Мальчишка сильно краснеет и, обращаясь к переводчику, сердито говорит:

— Скажите этому дяде, что я колониист и пусть он меня не качает, как ляльку.

Все такие посещения отнимали у Макаренко много времени и сил. Но, кроме иностранных делегаций, колонию посещают и наши рабочие делегации из учреждений, харьковских заводов. Им тоже нужно уделить внимание. Наконец, частые посетители — инспектирующие лица из Наркомпроса, считающие себя весьма компетентными в вопросах соцвоса¹. Они полагают своей обязанностью делать замечания заведующему колонией, вмешиваться во внутреннюю жизнь колллектива, собирать «факты». Антон Семёнович с трудом сдерживал своё раздражение. Он парировал нетактичность этих недалёких людей либо остроумной шуткой, либо ледяным молчанием. Он знал, что в кабинетах Наркомпроса сидят некоторые начальствующие лица, несогласные с системой Макаренко, отвергающие её принципы, слепо ненавидящие его самого. Этим людям нужен был компрометирующий материал, чтобы обрушить удар в подходящее для них время.

ГЛАВА 12

Воспитательницу Веру Николаевну вне работы называют просто Верочкой. Это имя подходит к её полным с ямочками щёчкам, много вздёрнутому задорному носу. Живёт Верочка с матерью, сухойстройной старушкой, всегда аккуратно одетой. Мне видно из окна, как мать Верочки каждое утро торжественно шагает с ведром в руках к мусорному ящику, одетая в чёрное длинное платье. На голове у неё маленькая шляпка с пером.

Жизнерадостный характер Верочки выразался не только в постоянной улыбке на её лице, но и в песнях, которые она всегда рас-

¹ Соцвос — социальное воспитание.

певала, когда бывала дома и занималась по хозяйству. Её голосок доносился через открытое окно в мою комнату.

Иногда я задумывался, каким образом эта хрупкая на вид девушка, опекаемая строгой мамашей с угонченными манерами великосветской дамы, стала воспитательницей в колонии для несовершеннолетних правонарушителей. Мне казалось, что Верочка ещё не встречалась с настоящими испытаниями и изнанкой жизни, поэтому жизнь кажется ей какой-то интересной игрой, в которой мелкие неприятности чередуются с забавными случаями. Встречая её на работе и во время дежурства, когда выражение лица её бывало очень серьёзным и брови сдвинуты, я не мог отделаться от мысли, что для Верочки роль ответственного дежурного по колонии и красная фуражка на каштановых волосах тоже вроде игры, но особой игры, где малейшая оплошность и промах непозволительны и правилами строго запрещены. Очень возможно, думал я, что весёлость и беззаботность Верочки иногда вдруг пропадают и на смену приходят грусть и неожиданные для неё самой слёзы.

Но моё представление о Верочке оказалось ошибочным.

Верочка пришла в колонию имени Горького с тяжёлой душевной травмой, оглушённая ударом судьбы. После окончания трудовой школы она стала учительницей русского языка.

Вскоре сердцем Верочки овладел высокий, длинноногий, уже немолодой учитель географии.

Дмитрий Иванович, так звали учителя, внушил Верочке и её матери, что в переживаемую ими революционную эпоху регистрация брака является лишней и ненужной формальностью. В течение года он пользовался всеми преимуществами и удобствами, которые давала ему роль мужа. Обе женщины души в нём не чаяли, предупреджая все его желания и капризы. Но, когда Верочка с радостным волнением сообщила ему, что она, кажется, будет матерью его ребёнка, Дмитрий Иванович, тайно уложив в чемоданы своё и не своё, исчез как привидение.

Следует добавить, что при проверке документов оказалось, что диплом об окончании педагогического института, выданный на имя Дмитрия Ивановича Передригайло, оказался подложным.

Эту историю под строгим секретом рассказала мне мать Верочки, Ольга Петровна.

— Дочь моя была близка к самоубийству. Я ужасно боялась за неё. Она долго болела и душевно, и физически. Из больницы она вышла, как призрак с того света. Верочка оставила работу в школе и решила куда-нибудь уехать, чтобы всё забыть и начать жизнь, как она говорила, сначала

До нас дошли слухи, что близ Полтавы имеется детская колония для детей-правонарушителей. Верочка, несмотря на все мои протесты и уговоры, решила поехать туда работать. Я была в отчаянии. Подумайте только, Верочка и бандиты. Ну, по-современному, правонарушители. Верочка уехала на переговоры. Я пережила ужасные две ночи, представляя себе растерзанный труп моей дочери на безлюдном заснеженном поле.

На третий день утром я услышала знакомый стук, Верочка влетела в комнату и бросилась меня целовать: «Мамочка, едем без промедления! Ты знаешь, как там интересно, как интересно!»

Успокоившись, она рассказала, какой разговор имела с заведующим колонией Антоном Семёновичем Макаренко.

«Мы сидели в холодной, нетопленной комнате, я в шубке, а он в зывала, и чем больше я говорила, тем легче становилось у меня на душе. Ты знаешь, мамочка, он такой серьёзный, а глаза его смотрят через очки прямо тебе в сердце. А когда я закончила, он задал мне неожиданный вопрос:

— Какими качествами, по-вашему, должен обладать педагог?

Я немного смуглилась. Как это, какими качествами? Нужно знать свой предмет, уметь изложить его, быть требовательным к учащимся...

— Ну, хорошо,— сказал он,— я буду перечислять, а вы отвечайте, обладаете ли вы такими качествами. Согласны?

— Да. Он начал:

— Честность с собой?

— Да,— ответила я.

— Гражданское мужество?

маленькую роль в жизни колонии, что их инициатива ограничена, что они лишены права накладывать взыскания на провинившихся колонистов. Короче и грубее говоря, вас, педагогов, Антон Семёнович крепко держит в руках, но как,— и я показал Верочке кулак, правда, менее внушительный, чем кулак Левицкого, показанный мне при разговоре с ним на аналогичную тему.

— Знаете, доктор, если бы я не чувствовала вашего хорошего отношения к колонии и, в частности, к Антону Семёновичу, я очень обиделась бы на вас. Но я знаю, что это не ваше мнение. Это мнение либо малосведущих людей, либо недругов, которых не так мало у нас. Поймите, доктор,— продолжала Верочка с неожиданной для меня суровостью в голосе,— наказания — это не цель, а только средство воспитания. Что ж плохого, если мы, педагоги, обходимся без этого средства? Наказания за провинности в колонии не аннулированы, они проводятся таким образом, что эффективность их выше, чем если они исходили бы от нас, педагогов. Я вам советую при случае поговорить об этом с Антоном Семёновичем... Вы сказали, я опять повторяю, что это не ваши, а чужие слова, что роль педагогов в жизни колонии ограничена какими-то тесными рамками. Это утверждение является тоже необоснованным. Колония — это хорошо сложенный механизм. И мы, педагоги, являемся очень существенными частями этого механизма. Выньте из механизма деталь, и работа его остановится. Не так ли? Но я вижу, что это сравнение вам не нравится. Оно устарелое и не объясняет сути дела. Хорошо. Тогда, доктор, я предлагаю сесть на скамеечку. Вот так. Я буду продолжать.

Мы сели. Я взял её маленькую ручку и стал слегка поглаживать. Верочка сердито выдернула её и отодвинулась.

— Слушайте, доктор, внимательно. Наша роль в колонии заключается в том, чтобы показывать личный пример, а не разглагольствовать. Ребята, находящиеся в колонии, прошли уже некоторую школу жизни и видели теневые стороны её. Когда они были на «улице», то им читали мораль все, начиная от прохожих и кончая торговками на базаре. Но от этой морали им легче не становилось. Мало того, они нередко видели, как люди, читающие им проповеди,

- Да.
- Стремление к новому и трудному?
- Да.
- Трудолюбие?
- Да.
- Любите вы детей?
- Да.

— Есть ли у вас актёрские способности?

Я опешила. Мы оба засмеялись. Потом, мамочка, меня приютили две воспитательницы, они меня накормили и уложили спать в своей комнате, уступив одну койку. В общем, оставила заявление Антону Семёновичу.

— А как эти... правонарушители? — спросила я.

— Ну, что ты, мамочка? Меня один хлопец из колонии отвёз обротно на станцию. Всю дорогу беспокоился, не замёрзла ли, даже какой-то шкурой мне ноги укрывал...»

— Вот так, доктор. Через неделю мы переехали и горьковскую колонию. Верочка так привязалась этой колонии, что сказать не могу. Вся отдаётся работе. Может быть, это всё к лучшему, — закончила Ольга Петровна.

После этого разговора Верочка предстала передо мной в новом свете. Нет, это не игра во взрослость», Это — настоящая «взрослость», рождённая в душевных муках. Сейчас она увлекается делом, которому готова она отдать все силы и чувства. Она стойкий, незнающий никаких компромиссов адепт нового учения, открывающего заманчивые перспективы в педагогике. Это ведь очень интересно и увлекательно. Об этом она может долго и убедительно рассказывать.

— Вера Николаевна,— спросил я однажды Верочку,— скажите мне откровенно, вы довольны своей работой в колонии?

— Отчего вы меня об этом спрашиваете?

— Вы можете мне на этот вопрос не отвечать, если у вас нет желания. Но меня интересует в данном случае не столько ваше личное отношение к работе, но вообще положение и роль педагогов в колонии. Мне как-то пришлось слышать, что педагоги играют очень

сами спекулируют, наживаются, обжираются и пьянствуют на нечестно заработанные деньги. Поэтому их доверие можно завоевать только делом, а не словами. И мы трудимся рядом с ними всюду, где это необходимо. Мы своим трудом завоёвываем себе авторитет. Дело не в том, что я своими слабыми руками меньше вскопаю грядок или хуже выколю, чем парнишка, работающий рядом со мной. Дело в моём добросовестном, серьёзном отношении к порученной работе. И ребята это прекрасно понимают. Наконец, об инициативе. Нужно быть слепым и глухим, чтобы не видеть, что любое наше полезное предложение начинает проводиться в жизнь, а не кладётся под сукно. На педсовете мы открыто и свободно высказываем своё мнение по всем вопросам. К нашему голосу прислушиваются и совет командиров, и комсомольская ячейка. Нет, доктор, авторитет педагога в колонии очень высокий!..

ГЛАВА 13

Мальчишка лет десяти с длинной хворостиной в руках бежит по двору и разгоняет проворных воробьёв, клюющих на земле всякую всячину,

— Вань, а Вань,— кричат проходящие мимо ребята,— гляди, горобец вот стрибае, гони его. Ванька, чего глаза вылупил!

Ваня бросается в указанную сторону и заставляя непослушного воробья подняться в воздух. Хлопцы смеются.

Я долго смотрю на эту сцену и ничего не могу понять. Почему этот мальчик гоняется за воробьями. В чём смысл его занятия, которое вызывает весёлые шутки у ребят.

Но лицо у Вани серьёзное, он внимательно смотрит вверх, следя за полётом воробьёв. Земля для этих птичек, по-видимому, сейчас — запретная зона. Летай сколько хочешь, но на землю не смей садиться.

— Доктор,— слышу я голос Антона Семёновича,— пойдёмте на бахчу.

Я охотно принимаю приглашение. Мы идём по скошенному полю. Под ногами ломаются и хрустит жнивье. Солнце стоит над головой, но прежней жары уже не чувствуется. Сухо и пыльно.

— Странную сцену я сейчас наблюдал,— обращаюсь я к Антону Семёновичу.— Какой-то хлоплец с палкой в руке гоняется за воробьями, а лицо у него такое, как будто серьёзным делом занимается. Антон Семёнович смеётся.

— Нет, доктор, у него лицо не серьёзное, а скучное. Занятие ему совсем не по душе, и делает это он не по своей охоте, а потому, что вчера совет командиров за неоднократное отлынивание от работы вынес ему такой приговор: в течение дня гонять воробьёв.

— И такое наказание, по вашему мнению, может его исправить?

— Не сомневаюсь. Весь смысл этого наказания, да и всякого другого заключается в том, что наказанный изолируется на какой-то срок от своего коллектива, причём под изоляцией нужно понимать главным образом сторону моральную. Наказанный может сохранять свою личную свободу, но он должен чувствовать, что коллектив осуждает его, недоволен им, несогласен с ним, высмеивает его, не хочет с ним общаться, потому что совершённый проступок приносит вред коллективу. Всякое наказание, которое не поддерживается общественным мнением коллектива, не достигает своей цели, то есть не исправляет виновного и не предупреждает повторения проступка тем или другим членом этого коллектива. Эту простую истину я понял не сразу. Антон Семёнович задумывается.

— Я расскажу вам случай, который, я надеюсь, останется между нами. Он помог мне усвоить эту простую истину. Случилось это в раннюю пору организации колонии, когда из аморфной массы человеческого материала стало выкристаллизовываться ядро будущего коллектива. Но это ядро было довольно рыхлое. Мне казалось, что оно ещё не в силах предъявлять требований своим членам, так как не пользуется необходимым авторитетом среди малоорганизованных ребят колонии. Эти требования предъявлялись тогда мной единолично, ибо другого организующего начала я не видел. Многие проступки, совершаемые тогда воспитанниками, оставались безна-

казанными, так как я физически не в состоянии был выявлять всех виновников, и эта безнаказанность самым отрицательным образом влияла на остальных ребят.

Однажды великовозрастный хлопцев Савельев был пойман с мешком муки на плечах, который он похитил из кладовой. Ребята привели его ко мне. Они были возмущены не только фактом кражи, но его масштабом. Время было голодное, и мешок муки больше значил, чем мешок с золотом. Кроме того, похищение муки, безусловно, отразилось бы ощутительным образом на их собственных желудках. Ребята требовали немедленного изгнания Савельева из колонии. По выражению лица Савельева и по тому, как он держался в кабинете, я понял, что он вполне разделяет мнение хлопцев: его следует послать к чёртовой бабушке, и чем скорее, тем лучше. Но для меня этот вопрос не решался так просто. Савельев, не задумываясь, на другой же день пойдёт в банду, которых было много на Полтавщине. И я сказал хлопцам: «Савельева я сам накажу, и он останется в колонии». Через два часа мы с Савельевым вышли со двора и направилась в лес. Мы углубились в чащу, затем вышли на небольшую лужайку. Я посмотрел этому здоровенному парню в глаза и твёрдым голосом сказал

— Савельев, спусти штаны и ложись на траву задницей вверх.

Савельев стоял в нерешительности. Я повторил:

— Сейчас же поддай свой ремень и ложись, как я тебе сказал.

Савельев нехотя выполнил моё приказание.

Я заколебался.

«Нет-нет,— пронеслось в голове,— нельзя повторять прошлой ошибки. Такое наказание ни по форме, ни по существу не оправданно...»

Я бросил ремешок, повернулся и пошёл по направлению к колонии. Сзади, отставая на шаг, шёл Савельев. Мы молчали.

Когда мы стали подходить к колонии, я услышал голос Савельева:

— Антон Семёнович... Я не отвечал.

Голос стал более настойчивый:

— Антон Семёнович, послушайте, что я вас попрошу. Я молчал.

В голосе Савельева послышались жалобные нотки:

— Антон Семёнович, ну послушайте меня, пожалуйста.

Я остановился.

— Ну?

— Антон Семёнович, только хлопцам не кажить, что я штаны снимал и, вообще... Я больше никогда не буду красть, даю честное слово.

— Хорошо,— ответил я, и мы разошлись в разные стороны.

Антон Семёнович замолчал.

— Моя ошибка,— продолжал он после раздумья,— заключалась в том, что я отстранил общественность от участия в деле Савельева, не добился опять-таки через коллектив принятия правильного решения, не поверил в силу общественного мнения, с которым, как стало очевидно для меня, считался и которым дорожил сам Савельев.

Савельев больше двух лет находился в колонии и ничего не узнал. Кстати, по моему предположению, Савельев работал помощником у кладовщика.

Антон Семёнович задумчиво шагал по обочине.

Я увидел на его щеках красные пятна. Он был взволнован рассказанным. После длительной паузы я спросил:

— Ну, а случай с Силантьевым в вашем кабинете? Разве вас тогда не могли подвести нервы?

— О, доктор, это совсем не то. Это с моей стороны была в известном смысле актёрская игра. Выждать в этом случае значило проиграть. Поэтому я применил тактику стремительного боя без введения основных сил. Но всё было тонко рассчитано... Ну вот, доктор, в разговорах мы незаметно пришли к цели.

Из сторожки, услышав наши голоса, вылезли два заспанных хлопца.

— Здравствуйте, хлопцы, отсыпаетесь после бессонной ночи? Принесите сладкий кавун, будем доктора угощать.

Ребята выбрали большой полосатый арбуз и, сжав его до христа ладонями, предложили нам.

Мы с удовольствием откусывали большие куски тающей во рту красной арбузной сердцевины и причмокивали от удовольствия.

— Антон Семёнович, я вам сейчас смешную вещь расскажу, — обратился хлопец постарше к Макаренко. — Помните, на прошлой неделе к нам интуристы приехали. Так там была фрау в очках, лохматая такая. Угощали мы их обедом, а на сладкое подали хороший кавун. А фрау, наверно, капиталистка, посмотрела на кавун, фыркнула и что-то говорит переводчику. Переводчик переводит: «фрау говорит, что она кавун есть не будет. У них кавуны кушают только коровы». Вот гадина! А рядом наш представитель сидит и говорит переводчику: «Переведите нашу пословицу: «Что для русского здорово, то для немца смерть». Мы держались за животики, чтобы не рассмеяться. А фрау надулась и молчит, паразитка. Антон Семёнович, — продолжает хлопец без всякого перехода, — а в воскресенье пойдём в город? С музыкой? Да? Слышь, Гришка! В воскресенье в город с музыкой пойдём, а ты, дурак, не верил. И в кино, — добавляет он от себя.

ГЛАВА 14

Огромный солнечный шар наполовину уже погрузился в огненный костёр заката и ярко освещает синий свод неба с золотыми облачками на нём и усталую от дневных трудов землю.

Мы сидим на ступеньках и играем в шахматы. Мой партнёр рабфаковец-колониист Петров. У него смуглое лицо и белые крепкие зубы. Он старается сморщить свой не поддающийся морщинам лоб и хлопает себя по бритой голове.

— Доктор, ваше положение того-с. Я задумал комбинацию из шести ходов. Вам мата не избежать.

Это хвастливое заявление вызывает смех у наблюдающих игру хлопцев.

Петров поднимает голову и с сожалением смотрит на ребят

— Ну, чего вы, хлопцы, ржёте? Это же психологическая подготовка. Доктор начнёт волноваться, а это мне и нужно.

— А доктор не волнуется и жмёт тебя на королевском фланге. Смотри, сам скоро получишь мат.

— В самом деле? Это весьма возможно, — соглашается Петров.

Мимо нас проходит группа ребят. Они кричат в нашу сторону:

— Хлопцы, пошли на станцию Антона Семёновича встречать!

Мой партнёр отказывается от очередного хода.

— Давайте, доктор, отложим партию. Я пойду с хлопцами Антоном встречать.

«Старые» колонисты называли между собой Макаренко по имени. Это была, как я заметил, особого рода привилегия, вроде права солдата второго года службы не стричь голову под машинку.

Я присоединяюсь к ребятам. Наш отряд состоит из 15-20 человек. Уже в сумерки мы подходим к станции. Поезда из Харькова ещё нет.

Хлопцы рассыпаются по перрону.

Петров мне объясняет:

— Понимаете, доктор, Антон из города везёт деньги, и немалые денежки на зарплату и разные расходы. А тут столько бандитов шляется! Дорога до колонии всё лугом. А на мостике ничего не стоит «перо» посадить под рёбра. Так вот, когда Антон в город уезжает за деньгами, хлопцы приходят для охраны. Вон возле того деревянного мостика или даже у дровяного склада, если кто спрячется, то вечером пройдёшь мимо и не заметишь, а он тебя финкой раз... — опять повторяет Петров.

Я начинаю думать, что у самого Петрова в прошлом, несомненно, имелся опыт в таких делах.

Но вот звучат удары в колокол. Поезд вышел с близлежащей станции.

Два фонаря тускло освещают перрон. Паровоз, пыхтя и отдуваясь, подходит к перрону. Хлопцы внимательно вглядываются в слабо освещённые окна вагонов.

— Антон Семёнович! — раздаётся очень тонкий голосок. — Я первый побачил, ей-богу.

Антон Семёнович с туго набитым портфелем в руке выходит из вагона.

Ребята сразу окружают его плотным кольцом. Мы двигаемся в обратный путь.

Уже стемнело, на небе появились первые звёзды, но луна где-то задерживается. Вечер прохладный, от речки тянет сыростью, отчаянно квакают лягушки.

Я не успеваю за босоногой командой и немного отстаю. Из оживлённого разговора Антона Семёновича с ребятами до меня доносятся отдельные фразы и частый хриповатый смех Макаренко.

— Вин як стрыбне, а я его за хвист, держу и всё.

— Ну, що ты Антону Семёновичу голову морочишь про своего жеребёночка, вот у нас в отряде...

Я не слышу, что там случилось в отряде. Но, должно быть, этот хлопец тоже не успевает закончить свой рассказ, так как уже слышится голос другого тембра.

— ...чуть пожара не наделал, паразит. Я ему кажу: чего ты тут шляешься, ну чего?..

Мальчики жмутся к Антону Семёновичу и стараются завладеть его вниманием.

Начинается подъём. Ноги глубоко уходят в сыпучий песок. Быстрый темп ходьбы замедляется.

— А ну, хлопцы,— раздаётся зычный голос Петрова,— давайте донесём Антона Семёновича до ворот.

Антон Семёнович не успевает открыть рта, как десятки рук подхватывают его и поднимают вверх. Портфель оказывается в руках маленькою пацана. Антон Семёнович громко протестует:

— Вы с ума посходили, хлопцы. Дайте мне встать на ноги. Где портфель? Там документы и деньги.

Но голос его тонет в торжествующих криках ребят. Пройдя метров сто, они останавливаются и опускают расстроенного Антона Семёновича на землю. Антон Семёнович молчит. Ребята чувствуют себя неловко.

— Вы уж пробачьте, Антон Семёнович, это вид широкого сердца. Ей-богу, вы на нас не сердитесь. Вот вам портфель в полном порядке. Это мы сдуру. Ну, як кажут, вид широкого сердца. В натуре...

Петров приносит втиеватые извинения, которые вызывают на конец улыбку на лице у Антона Семёновича. Ребята, заметив улыбку, оживляются и начинают прыгать и подталкивать друг друга, как бодливые козлята.

Темнота ещё больше сгущается. Звучит сигнал: «Спать пора!»

— До побачення, Антон Семёнович, до побачення.

ГЛАВА 15

Наступила неприветливая дождливая осень. Отопительный сезон ещё не начинался. В спальнях холодно и сыро. Обувь на ребячьих ногах быстро изнашивается и начинает пропускать воду; из меню исчезают свежие овощи и любимые кабачки. В «больничке» появляются первые жертвы вирусного гриппа с его грозными осложнениями.

Но колония продолжает жить своей деловой, напряжённой жизнью.

Антон Семёновича я редко вижу. Он часто отлучается в город. Предстоит прожить тяжёлую зиму. В колонии имеется очень ограниченный запас угля и дров, нужны верстаки для столярной мастерской, кожа и всякие обрезки для сапожной мастерской, школьные принадлежности, медикаменты и многое-многое другое, а финансовое положение колонии идёт нерегулярно, зарплата выдаётся с большим опозданием, всюду нужно просить, доказывать, убеждать, наконец, угрожать, повышать тон. Отношения с Наркомпросом окончательно испортились. Для некоторых его руководителей Макаренко стал одиозной фигурой. Принципиальность Антона Семёновича считалась упрямством, скептическое отношение к высказываниям оракулов от педагогики — сомнением, организованность и дисциплина в колонии — военной муштрой, любовь его к детям — показной.

Из города Антон Семёнович возвращался усталый, в дурном настроении. В возбуждённом мозгу по инерции возникли новые до-

воды и слова, не произнесённые в кабинетах, пороги которых ему приходилось обивать в течение дня.

Но, очутившись в своей рабочей комнате, среди ребят, он преобращался. Усталость сходила с его лица, насулпленный взгляд прояснялся, голос становился как всегда требовательным и твёрдым, смех весёлым и искренним.

И все эти булавочные уколы и насочки, обидные слова и намёки, пренебрежительные улыбки и пожимание плеч казались ему сейчас такими мелкими, незначительными по сравнению с этой настоящей, многоликой, трудовой жизнью детского коллектива.

Однако Антону Семёновичу было ясно, что уроки, которые ему преподаёт педагогическая практика, требуют философского осмысления, анализа и синтеза и, если возможно, художественного отображения.

Мысль об издании сборника или, как мы тогда говорили, альманаха, посвящённого возникновению и развитию колонии имени Горького, была высказана Макаренко на одном заседании педагогического совета. Все горячо подхватили это предложение.

Антон Семёнович заключил: «Пишите, товарищи, что хотите и как хотите, но только не скучно. Нужно думать и об интересах защитного читателя».

Мой рассказ в этот, не увидевший света журнал назывался «Пруд». Это была скорее поэма в прозе. Трудно сейчас судить о её художественных достоинствах, да это и неважно. Суть заключалась в том, что в этом произведении я тоже сделал попытку осмыслить события, развернувшиеся в Куряжской детской колонии с зимы до осени 1926 года.

Прошли годы. Маленькие колонисты-пацаны превратились во взрослых людей и разъехались по необъятным просторам страны. И дороги, по которым они шагают, разные, и судьбы их различные, так как жизнь сложна и неповторима в своих бесчисленных вариантах. Но впечатления детства и юности глубоко сидят в подсознании. Это

они обуславливают направление жизненного пути человека, это они дают эмоциональную окраску поведению взрослого.

Тропинки, по которым мы шагаем в жизни, очень редко пересекаются. Поэтому радости бывают неожиданные встречи людей, которые когда-то были связаны между собой знакомством, совместной работой, общими переживаниями и интересами. Такая встреча произошла у меня в 1937 году с Васей, первым моим пациентом в Куряжской колонии.

Я был призван на военные сборы. Лагерь помещался в живописном месте в Донбассе. Был жаркий полдень. Я медленно шёл по песчаной дороге. С обеих сторон дорогу обступали молодые стройные ёлочки, наполняющие нагретый воздух смолистым запахом.

Я был погружён в невесёлые мысли. Поводов для плохого настроения было много. Германия была охвачена воинственной лихорадкой. Фашистский зверь готовился к прыжку. Для нас не было сомнения, что рано или поздно нам придётся вступить в единоборство с фашистами, и борьба будет не на жизнь, а на смерть.

Из-за деревьев навстречу мне вышла молодая парочка. Он в гимнастёрке и кирзовых сапогах, она в лёгком ярком сарафане. Они держались за руки и оживлённо разговаривали. Поравнявшись со мной, он прижал левую руку к бедру, правую поднёс к козырьку.

Я ответил, мельком взглянув на них. Но через минуту я услышал голос молодой женщины:

— Вася, это же наш доктор! Я его узнала, честное слово.

Я повернулся. Они подбежали ко мне и принялись трясти мне руку.

— Товарищ военврач третьего ранга, это я, Вася, помните в Куряже, в горьковской колонии! А это Люба, моя жена. Она тоже была колонисткой.

Мы долго стояли и вспоминали далёкие годы.

Вася сейчас командир взвода; по совету Антона Семёновича он закончил военное училище и служит в армии. Недавно женился. К свадьбе Антон Семёнович прислал им денежный перевод на приобретение мебели. Были они в гостях у Антона Семёновича в Москве.

Я смотрел на их оживлённые лица, слушал их молодые, уверенные голоса, и на душе становилось легче и светлее.

Потом Вася, бросив на Любу лукавый взгляд, сказал:

— А будущего нашего сына мы назовём Антоном. Мы распрощались.

Я долго стоял и смотрел им вслед, и думал: «Они прошли школу Макаренко; они перенесут все испытания и невзгоды на жизненном пути и победят».